
Сергей Дауговиш

УМ СЛИЗНЯКА
(Достоевский и Кювье)

В финале «Преступления и наказания» убитая горем Пульхерия Александровна, трижды читавшая статью своего «первенца» и уже догадывающаяся о страшной участи сына, хочет «по-здешнему» казаться «умнее» и даже обмануть самое себя неловкой похвалой любимому Роде: «ты скоро будешь одним из первых людей, если не самым первым в нашем ученом мире. <...> Ах, низкие червяки, да где им понимать, что такое ум!» (6; 395—396).

Нечаянную двусмысленность родительскому комплименту придает упоминание «червяков». В «поэтическом» обиходе — это популярный «шиллеризм»¹, но в намеренно «ученом» слогое — скорее «кювьеризм», расхожие применения которого грозили поколебать радостно-благодатную гармонию Природы (сладострастие червя ~ полет херувима) противопоставлением «низких» червей «высокоумным» слизнякам. [Косвенно на характер оценки Достоевским массовой кювьеризации умов указывает ироничное авторское переименование «ни бельмеса не чувствующего», но «выпускающего» на Толкучий «естественнонаучные книжонки» дельца Зайчикова в ... Херувимова (6; 88; 7; 37, 371).]

История усвоения и переосмысления Достоевским идей Жоржа Кювье — предмет весьма малоисследованный. Предположение о знакомстве с романом Бальзака «Отец Горио» по его краткому переводу в 8 и 9 томах «Библиотеки для чтения» за 1835 год² означает и возможный интерес братьев Достоевских к пространной компилятивной биографии знаменитого зоолога (целых 20

страниц в отделе «Наук и художеств» 9-го тома), где главной заслугой ученого объявляется «выключение слизняков из класса червей»³.

Популярности кювьеровой системы способствовали и такие журналы, как «Сын отечества», «Телескоп», «Вестник естественных наук и медицины», «Московский телеграф», «Отечественные записки». Авторы этих изданий стремились удивить публику «искусством» восстановления «преждепотопных животных» по отдельным ископаемым костям, внушить читателям идею «согласия геологии» с «истинами библейского повествования», примирить «опытное знание» с «идеальным взглядом, синтетическим соображением и умозрением»⁴. Характерным примером укорененности «кювьеризма» также и в русском «хрестоматийном шеллингианстве» может служить помещенное в «Отечественных записках» (1842, № 2) стихотворение Д.П. Ознобишина «Кювье», воспевающее силу ума ученого-«пророка» и мифологизирующее его деяния во благо всего человечества⁵.

«Провидческий», креативный ум Кювье, сделавшегося в России этой поры своего рода персонажем постромантического дискурса, вдохновлял на интеллектуальные искания и многих из революционеров-петрашевцев.

М.В. Буташевич-Петрашевский, например, подчеркивая достоинства составленного им самим «Проекта об освобождении крестьян» и высмеивая «глупость» всех прочих авторов, берется точно (подобно тому, как Кювье по «кльку» «воспроизводил животное») «определить» тип каждого из мыслящих «односторонне» ложных благодетелей народа: «чиновника», «литератора», «священника», «офицера».

Для второго выпуска «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка» Петрашевским же, среди прочего, написаны и две явно вдохновленные модой на «кювьеризм» статьи: «МОЛЛЮСКИ, иначе СЛИЗНЯКИ» и «Органические ОСТАТКИ». О первых здесь говорилось как об «особенном классе чрезвычайно многочисленных животных, имеющих до 20000 пород», к которым «принадлежат», например, «устрицы и улитки». Относительно же ископаемых следов «творческой деятельности природы» делался прогноз об их решающей роли в разгадке «образования земного шара» и того, «как, наконец, произошел человек!..»⁶.

Знакомясь (в конце 1848 — начале 1849 гг.) с двадцатипятилетним петрашевцем Д.Д. Ахшарумовым, страстно увлекавшимся переводами из Петрарки и... зоологией, Достоевский застаёт юного романтика уже более двух лет практикующим вегетарианство по убеждению, вынесенному из пристального изучения трудов Кювье.

Сам Ахшарумов позднее вспоминал: «Человек, — думал я, — по природе своей, как физической, так и духовной, не может быть поставлен в отделе хищных млекопитающих, а потому и употребление мясной пищи может быть оправдано только недостатком растительной пищи или извращением его природных условий жизни. Физиологи, — думал я, — во многом ошибаются, а Cuvier <...>, описывая между прочим, зубы обезьян, говорит, что они по виду своему хищнее, чем у человека, а потом, говоря о их пище, замечает, что они питаются исключительно плодами, животную же пищу едят только в крайности, когда нечего есть»⁷.

Безусловно, знал Достоевский и о том, что палеонтологическое «искусство» Кювье (кстати, одаренного рисовальщика, знатока живописи и ценителя Рафаэля) не раз служило современной параллелью к истолкованиям природы поэтического гения. Так в 1841 году В.Г. Белинский, разбирая «Римские элегии» Гёте, переведенные А.Н. Струговщиковым, пользовался этим приемом, усиливая его действие беспронзрышной ссылкой на воскрешенный романтиками авторитет Шекспира:

«Подобно Кювье, который по одной вырытой из земли кости безошибочно определял род, вид, величину и наружную форму животного, — поэт по немногим фактам, часто немим для ученого и всегда мертвым для толпы, восстанавливает целое племя существ, некогда юных, сильных, полных жизни и красоты. <...> В глупо рассказанной сказке “О том, как хитро датский король Амлет отмстил за смерть отца своего Горденвила, убитого своим братом Фенгоном, и о прочих похождениях его жизни” — в этой нелепой сказке он провидит великую драму и из ее скудных материалов создает “Гамлета”»⁸.

Разумеется, общим и Белинскому и Достоевскому примером для такого рода аналогий мог послужить откликнувшийся на «кювьеризацию» умов Бальзак. [Ср. его «философский этюд» «Шагреневая кожа» (1830—1831 гг.), где Кювье уподобляется Байрону, а идея «естественной» классификации сердец по «родам, видам и

семействам» не без умысла влагается в уста героя по имени Рафаэль⁹.]

Позднее изосимволизм имен Кювье и Шекспира иронично (и, вместе, ностальгически) применяется Достоевским к изображению быта и этоса молодого поколения демократов-шестидесятников, не столько воскресивших «принципы» Белинского, сколько модернизировавших его наследие и принявших на себя роль «новых Белинских».

В «Преступлении и наказании» — таково кювьерическое «искусство» Разумихина, берущегося «сделать человека» из вконец обносившегося товарища, «восстановив» последнего «во всем костюме»:

«— Я с запасом ходил, и как натуралист [было: Кювье] восстанавливал по одной косточке целый скелет, так и в лавке Фомина по этой развалине восстановили мне настоящий размер, да еще сказали: на том стоим-с, и скорее уж натуралист соврет, чем Фомина» (7; 60).

«Восстанавливая» время своей писательской юности и ставя «реализм» Белинского и Бальзака ниже «поэзии и красоты», привнесенных в новую литературу Пушкиным, Шиллером и Жорж Санд, Достоевский делает характерную рабочую запись для «Дневника писателя» на 1877 год: «при одной только “жизненной правде” <...> нельзя извлечь никакой мысли. Реализм есть фигура Германна (хотя на вид что может быть фантастичнее), а не Бальзак Гранде — фигура, которая ничего не означает» (24; 247, 248). И далее, в развитие той же темы, следует сравнение Гоголя с Кювье, долженствующее подчеркнуть боговдохновенность творческого дара как в создателе «Ревизора», так и в авторе «Рассуждения о переворотах на поверхности земного шара»: «Ревизор — Кювье.<...> NB. Тот, чьей волей могли появиться великие произведения Гоголя в русском языке. (Как Кювье)» (24; 303, 304).

В самом «Дневнике писателя» за 1877 год теме «реализма» («лжи, ложью спасающейся») посвящена и «придуманная» Достоевским сцена-пастиш а la Сервантес¹⁰, из контекста которой становится понятным, как действительно реальный в своей идеальности «фантастический человек» Дон-Кихот «вдруг затосковал о реализме», для «спасения правды» допустил существование «людей с телами слизняков», «поумнел» и ... «тот час же умер», по-

бежденный «пошлым благоразумием» «умных людей», готовых ради «утешающей» их самих «мечты» «сделать из настоящего уже слизняка организм человеческий» (26; 24—28, 29, 30).

Варьируемый во множестве текстов Достоевского тип «умных людей» восходит не только к «человеку умному» (городничий в «Ревизоре») или «действительно очень умному человеку» (Дмитрий Васильевич Бобынин в повестях И.И. Панаева «Онагр» и «Актеон»), но и к навеянной трудами Кювье популярной идее подобия, сходства (в пищеварении и секреции — даже близкого) между Человеком разумным и Слизняком, равно и законно первенствующими каждый в своем «типе» «Царства животных».

Так, например, известное в свое время учебное пособие А.Л. Ловецкого «Начальные основания зоологии, или Уроки, содержащие в себе анатомию, физиологию, классификацию и нравы животных» (Москва, 1838—1839 гг.) вполне следовало кювьерическому «образу» слизней. Подтверждалась их «самая высшая организация» среди беспозвоночных. «Епанча» (*pallium*) описывалась как покров, окружающий тело слизняка «совершенно наподобие мешка». «Жаберные сердца» моллюсков, «не побуждающие их кровь к движению», расценивались как «не заслуживающие названия сердец». Однако из «чувств» за слизняками признавались «осознание, вкус, зрение», а у некоторых «находили даже слышательный аппарат»¹¹.

Не случайно герой романа *Идиот* — «умный и ловкий человек» — генерал Епанчин, чья фамилия прямо называет видимый признак морфологии слизней, парадоксальным образом венчает собой иерархическое деление литературных «типов» (см. начало 4-й части романа) на «людей ординарных» (господин Птицын /тип, семейство/) и «гораздо поумнее» (Ганя Иволгин /вид, разновидность/) (8; 14, 384—385).

Эта пародийная зоо-систематика может быть интерпретирована как аллюзия на давно преодоленную самим Достоевским инерцию укоренившегося в новой русской прозе **натурально-физиологического письма**. Подтверждением тому может служить рекомбинаторное превращение панаевского Бобынина в... Ивана Федоровича Епанчина, неожиданно оказавшегося в весьма неловком, но любопытном для себя «семейном родстве» с «донкихотом» Львом Мышкиным. (Заметим, что князь предстал перед

Епанчиным, уже сняв свой «довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном», т.е. явился без епанчи) (8; 6, 18—19, 22, 157, 205, 207).

От генерала — обладателя хотя и простого/низкого, но сюжетно поливалентного (т.е. «умышленного») имени — герой Панаева отличается ономастически предзаданной очевидностью легко узнаваемого «типа». [«Бобыня» — это «надутый, чванный, спесивый человек»¹², что только и демонстрируется «изобличительным», почти «фельетонным» панаевским рассказом.]

Иван Федорович Епанчин тоже — якобы к личной выгоде — покровительствует молодому, непрактичному и в своем роде «беспутному» протагонисту. Однако в романе Достоевского нет и следа назидательной для читателя шаблонной интриги, в ходе развития которой опытный «подлец» (= ложный покровитель) обманывает и губит бонвивана-«дурака».

Удивительное поэлементное сходство двух персонажей лишь подчеркивает целостный авангардный характер создаваемой Достоевским поэтики «реализма в высшем смысле».

Бобынин «десять лет <...> служил в каком-то пехотном полку», а Епанчин — «человек без образования и происходит из солдатских детей». Каждый из этих весьма приметных «петербуржцев» подчеркивал при случае свою «русскость». Первый «читал русские газеты», второй же «любил выставлять себя <...> человеком <...> русским и сердечным». Бобынина «вы встретите на всех торгах и аукционах; к нему ездит генералитет, с ним под ручку прогуливаются капиталисты»¹³. Епанчин слывет «человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями» (8; 14).

Оба героя — «умные люди»: «очень умный» и «умный бесспорно». Оба используют «слабость к картишкам» как средство делать связи и карьеру в «тузовом» обществе.

Один из них «покупает», «перекупает», «продает», «запродает» и «выгодно обрабатывает» «статью» или «дельце». О другом известно, что «в старину» он «участвовал в откупах». Бобынина «определили на очень выгодное, хотя и невидное место». И для Епанчина «все должно было прийти со временем и своим чередом». Бобынин «женился на генеральской дочке, за которой ничего не взял». Епанчин «женился <...> еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице, за которою он взял всего только пять-

десять душ». Но для одного и для другого такой брак становится залогом «дальнейшей фортуны» и будущего процветания. Дмитрий Васильевич обладает капиталом «до миллиона»¹⁴. А Иван Федорович имеет недвижимость, приносящую «чрезвычайный доход» (8; 14—15).

Однако этот сквозной параллелизм взаимообратимых и взаимозначных фигур решительно нарушается Достоевским, передоверяющим роль действительно главного героя нетипичному во всех отношениях «молодому человеку <...> лет двадцати шести или двадцати семи» — эпилептику, «дурачку», «идиоту» (8; 6, 19, 25), — вовсе не самодовольному глупцу, превращающемуся (в назидание читателю) из столичного «осла» в деревенского «навозного жука». [Метафора и аллегория «осла» многообразно осознаются самими героями Достоевского (от Мышкина до Фердыщенко), да, пожалуй, и «грязный» Рогожин символически декорирует себя «огромной бриллиантовой булавкой», изображающей «жука» (8; 48—49, 117, 135).]

«Типический» Бобынин «Онагра» совершенно не испытывает каких-либо затруднений в общении со столь же «типическим» Завьяловым, история которого выведена в год ранее опубликованной (1840) повести Панаева «Прекрасный человек»:

«Навстречу онагру попался Дмитрий Васильевич. [Он] шел с Владимиром Матвеевичем Завьяловым, с тем самым, который известен был в некоторых средних кружках петербургского общества под именем прекрасного человека. Они с жаром о чем-то рассуждали». И далее: «Он или на службе, или на бирже, или <...> толкует о разных коммерческих оборотах с своим искренним приятелем, прекрасным человеком»¹⁵.

Эпиграф к «Прекрасному человеку» ясно указывает на заданную десятой строфой восьмой главы «Евгения Онегина» программу благополучной светской биографии для всякого «N.N.», вполне добивающегося того же, что и «умные люди» Достоевского¹⁶. Но весь этот принятый порядок вещей абсолютно не отвечает ни изначальной «идее», ни «главной мысли» романа «Идиот» — симпатийно-сострадательному изображению «положительно прекрасного» человека (28, II; 251). [Натурально, что в финале романа среди всех Епанчиных, навестивших в Швейцарии «несчастливого», «больного» и «униженного» «князя», отсутствовал, «разумеется», только Иван Федорович, оставший-

ся, как это положено прекрасному человеку, в Петербурге «по делам» (8; 509).]

Следует подчеркнуть, что преодоление Достоевским остаточной инерции так называемой «натуральной школь» происходит еще в 1849 году, когда в «горячечной» нарративной технике «Детской сказки», романтически сопряженной со всем тюремным дискурсом «дела петрашевцев», и выстраивается оказавшаяся впоследствии столь продуктивной малакологическая метафора современного «умного человека» (2; 275). Свобода условного диалога с едва ли не выдуманной повествователем Машенькой как нельзя лучше служит реализации главной художественной интенции самого автора повести — всецело эмотивному превращению ума «тшеслявящегося новыми идеями» «современного европейца» в «предохранительное средство» «упитанной» жизни слизняка (2; 275—277).

Муж m-me M* — плотен, румян [Достоевский, хорошо владевший французским, мог обратить внимание на «словарную близость» *vermeil* = румяный/красный и *vermine* = гадина/черви/своблочь]¹⁷; обладает сердцем, подобным «куску жира»; в чувствах своих равен «устрице», а нутро его сравнимо с «исполинским», «донельзя раздутым мешком», наполненным «сентенциями», «фразами» и «ярлыками» «всех родов и сортов».

В «инстинктах», присущих всем особям его «слизняковой породы», укоренено характерное «чутье» «пронюхать», «почувать», «запасть» и, отталкивая «все, что еще не поспело», «прожить осмотрительно», держа «чуть ли не весь мир на оброке». В своей «безмерной гордости» этот тип «растолстевших на чужой счет» существ уверен, что всякий, кто не принадлежит к их роду, «похож» на «губку, которую они нет-нет да и выжмут» (2; 275—277).

Именно в «животном царстве» Кювье слизи обладают органическим превосходством над насекомыми, червями и животнорастениями — губками.

Это обстоятельство может быть небезынтересным также и при сопоставлении квазинатуралистических мотивов «Детской сказки» с куда более очевидным здесь влиянием бестиарной метафорики Шекспира:

«Гамлет. <...> Что будет отвечать сын короля, если его спрашивает губка?

Розенкранц. Разве я губка, принц?

Гамлет. Да, губка, которая впитывает в себя милости, ласки и власть своего короля. Но вы самые лучшие слуги королей. Короли берегут вас на закуску, как обезьяны лакомый кусочек. Чуть понадобится взять обратно то, чем вы напитались — вас пожмут, и — вы сухи, как губка!»¹⁸.

Примечания

¹ Matlaw R.E. Recurrent Imagery in Dostoevskij // Harvard Slavic Studies. — 1956. — Vol. 3. — P. 219—220; Lyngstad A.H. Dostoevskij and Schiller. — Paris, 1975. — P. 38—40.

² Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. — Москва, 1979. — С. 104.

³ Кювье // Библиотека для чтения. — 1835. — Т. 9, отд. Науки и художества. — С. 28.

⁴ Зубов В.П. Историография естественных наук в России (XVII в. — первая половина XIX в.). — Москва, 1956. — С. 197—198, 349—350, 355, 444, 447—448, 474, 480—481, 490, 515.

⁵ Ознобишин Д.П. Стихотворения. Проза. В двух книгах. — Кн. 1. — Москва, 2001. — С. 460.

⁶ Философские произведения петрашевцев. — Москва, 1953. — С. 156, 334, 359—360.

⁷ Первые русские социалисты. Воспоминания участников кружков петрашевцев в Петербурге. — Ленинград, 1984. — С. 175—176.

⁸ Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. — Т. 5. — Москва, 1954. — С. 233.

⁹ Повесть И.И. Панаева «Онагр» (1841), снабженная эпиграфом из «Руководства к Естественной Истории» И.-Ф. Блуменбаха, пародирует действие таинственного «талисмана» (кожи персидского осла «онагра») на глуповатого «молодого человека», алчущего тех же «светских» удовольствий, о которых «и Бальзак пишет» (Панаев Ив. Ив. Собрание сочинений. — Т. 2. — М., 1912. — С. 81, 132).

¹⁰ Багно В.Е. Достоевский о «Дон Кихоте» Сервантеса // Достоевский. Материалы и исследования. — Т. 3. — Ленинград. 1978. — С. 132.

¹¹ Ловецкий А.Л. Начальные основания зоологии, или Уроки, содержащие в себе анатомию, физиологию, классификацию и нравы животных. — Ч. 2. — Москва, 1839. — С. 6, 14, 18, 19, 53.

¹² Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка в четырех томах. — Т. 1. — Москва, 1956. — С. 101.

¹³ Панаев Ив.Ив. Собрание сочинений. — Т. 2. — С. 91.

¹⁴ Там же. — С. 91—92, 123.

¹⁵ Там же. — С. 106, 116. Принадлежность героев к одному «типу» ак-

центрируется здесь еще и культурно-этимологическим родством их имен. «Бобыня» и «завьяла» — (См.: Даль Владимир. Указ. изд. — Т. 1. — С. 564), — именованья, обычные в областных наречиях и потому применимые для обозначения простого/низкого происхождения литературных персонажей.

¹⁶ Князь Мышкин в свои годы уже должен был бы стать «франтом» или «хвatom», помышляющим о скорой «выгодной» женитьбе.

¹⁷ Будучи воспитанником пансиона, Достоевский мог также составить себе представление о «слизняках» по многотомному иллюстрированному изданию «Детский Музеум», где имелось описание и «Раковины Кювьеровой» — «красного» моллюска, чье тело покрыто «перепончатым и надутым епанчаком» («Детский Музеум, или собрание изображений животных, растений, цветов, плодов, минералов, одежд, разных народов в свойственном их виде, древностей и других предметов, служащих для наставления и забавы юношества, составленное и гравированное по лучшим образцам, с кратким изъяснением, соответственным понятию детей». — Санкт-Петербург, 1827. — Ч. 21:26).

¹⁸ Полевой Н.А. Драматические сочинения и переводы. — Ч. 3. — Санкт-Петербург, 1843. — С. 164.